
Андрей
Платонов
ГВАРДЕЙЦЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Андрей Платонов

ГВАРДЕЙЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Рассказы

Москва „Современник" 1985

Р2
П37

П $\frac{4702010200-135}{М106(03)-85}$ КБ—4—34—85

ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

(Рассказ о небольшом сражении под Севастополем)

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и пòтом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ними долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышле-

ния, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня или она забыла про него?» — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.

Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.

Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был

там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета, бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мииа прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко иад их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Одии Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», — и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над голо-

вой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными, побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько.

Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку, у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело и осторожно перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь иль так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился,

обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть, — стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля... — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — «Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха.

Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до

самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего.

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое; если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жили-

ще, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже, — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них открошились.

— Они плохие, такие не бывают, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать:

— Комиссар говорил, что мы для него — всё, что мы для него — Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.

Одинцов бросил саперную лопату и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую, отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие

помрут не очнувшнсь, но человечество проснется, н будет опять хлеб у всех, людн будут чнтать кингн, будет музыка и тнхне солиечные днн с облаками на небе, будут города н деревин, людн будут опять простымн, н душа нх станет полной». И Одннцову представилась вдруг пустая душа в жнвом, двнжущемся мертвяке, н этот мертвяк сначала убнвает всех жнвущнх, а потому теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существованняя н он не поннмает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одннцов стоял одни на откосе шоссе н глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся иа винтовку, поднял воротннк шинелн н думал н чувствовал все, что полагается пережнть человеку за долгую жизнь, потому что ие знал, долго илн коротко ему осталось жнть, и на всякнй случай обдумывал все до конца.

Потом воображенне, замена человеческого счастья, заработало в сознанин Одннцова и начало согревать его. Он вндел, как он будет жнть после войны. Он окончнт музыкальную школу прн фнлармонин, где он учнлся до войиы, н станет музыкаитом. Он будет пнаннстом, н еслн сумеет, то н сам начнет сочннять новую музыку, в которой будет звучать потрясеиное войной и смертью сердце человека, в которой будет нзображено новое священное время жнзии.

Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цнбулько и Паршин, спнт Красносельскнй, ранеиный в грудь насквозь; навеки усиул комнссар. Плохо им спать иа жесткой земле: не для такого мнра родилн нх матерн н вскормнл народ, не для того, чтобы кости отрывалн от тела нх жнвых детей. Одннцов вздохнул: много еще работы будет на свете н после войны, после нашей победы, еслн мы хотнм, чтобы мнр стал святым н одушевленным, еслн мы хотнм, чтобы сердце красноармейца, разорваниое сталью на войне, не обратнлось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комнссар Лукьянов; онн прнвезли с собой боеприпасы, вооружеиие н пнщевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию н увез с собой в город тело Полнкарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильчеико велел Одннцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшнйся боец — это не работннк на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом, дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я ниипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько

установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон веку считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизельмоторов. «Николай! — сказал тогда Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись, от старого, дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале, он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую

и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной, — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному, тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и

любил много своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любимого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое, легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинград-

ском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в Парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо. Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы Родина, родное место, где могут рождаться люди...

Фильченко представлял себе Родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой, поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его.

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленные ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Полковой комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар.

Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже,— сказал комиссар,— они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар.— Позади нас Севастополь, а впереди — все наше, большая, вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни,— так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские,— до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сменные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил

свое мнение Цибулько. — Целииу можно легко поднять, и ие уморишься!

— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршнн.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин.— Ои обо мне заботнтся. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок,— поясиил Красиосельскнй.— У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

— Поеду516 вековать на Урал, — сразу согласился Паршин.

После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованню замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жнзни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тираиа! — воскликиул воодушевленный, сияющий силой Николай Фнльченко.

— Есть таранить тираиа! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться, — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотницы заияли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту стороиу шоссе, на полыниом поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издалека доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькимн ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, иовую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг илн на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но

склоны ее н полыииое поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь иевидимыми стали! — сказал Цыбулько. — Вдруг оии вещество такое нзобрели — иамазался им и пропал из поля зреиия!..

Фильчеико резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произиес Цибулько. — Я подумал, может, тут иовая техиика какая-нибудь... Техинка не виновата: оиа иаука!

— Пускай хоть они виднмые, хоть невидимые, их крошить иадо в прах одинаково,— сказал свое миеиие Паршии.

— Без ответа помирать нельзя,— сказал Красиосельский.— Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильчеико.

Он всмотрелся вперед. По склоиам вражеской высоты, примерно иа половиие ее расстояиия от подошвы до вершииы, справа и слева подиялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльиой стороиы холма, из-за плеч высоты.

Красиофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерлн и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршии засмеялся.

— Это овцы! — сказал он.— Это овечье стадо выходнт к иам из окруженья...

— Это овцы, но они идут к нам не зря,— отозвался Фнльченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть,— сказал Одинцов.

— Тнхо! — приказал политрук.— Вннманне! Товарнщ Цнбулько, пулемет!

— Есть пулемет, товарнщ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовкн!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьямн обтеклн высоту н сталн спускаться с нее вннз, соеднившнсь иа полыииом поле в одии поток. Стадо направлялось прямо на Дуваикойское шоссе. Уже слышны былн овечьи иапуганные голоса: нх что-то беспокоило, и онн спешнлн, семеия худыми ножкамн. Одна овца вдруг приостановнлась н огляиулась назад, на иее набежалн заднне овцы, получилось стесненне, н из овечьей тесноты прнвстал человек в серо-зеленой шннелн и замахиулся на жнвотных оружнем.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу,— откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель,— ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук.— Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с ходу из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы: они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко.— Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко.— Вперед! — Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палаша-

ми, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; оии смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Красиофлотцы вериулись иа свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк,— сказал политрук.— Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнул Паршии.— Это ничто.

— Кури помалу,— разрешил Фильчеико.

Красиосельский сволок с откоса битых овец в одио место, чтобы ночью их увезли в город людям иа пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, иачала бить артиллерия врага. Пушки били не спешио, ие часто, ио иастойчивой долбежкой, ие столь поражая, сколько прощупывая лииии советской обороиы. И иемцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времеии их артиллерия умолкала, словио слушая и размышляя. Но обороиа ие отвечала, и иемцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседиика.

Комиссар Лукьяиов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его иа флаигах подразделеиия Фильчеико, оставив инициативу иа этом участке за Фильченко.

Лукьяиов выслушал сообщеиие политрука о небольшом бое с иемцами среди овец и сказал свое заключеиие:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была: бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, урагаиный режим огия.

«Пустошь делают впереди себя,— понял Фильченко.— Зиачит, скоро будут танки».

Ои увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одиим иакатом тонких бревен, ио здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиидаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обиажались наружу.

Левый склон высоты запылил у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего таика вышло

на полынное поле, за ннм шли еще машииы. Онн шлн вперед под навесом артнллернйского огня.

Фильченко укрылся в блнидаже от блнзкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть,— подумал ои,— сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолклн, Фильчеико вывел подразделеине на позицию. Танки подходнли к насыпи; нх было пока что семь: по полторы машины, без малого, иа душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильчеико в сториоу Цибулько.— Пулемет — по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршни, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, ио танк бушевал всею своей мощиостью и шел вперед на моряков. Паршии и Красиосельскнй поползлн через иасыпь на ту сториоу дороги.

— Точией огоиь, пулеметчик! — вскрнкнул Фнльченко.

Цибулько прниоровнлся, нащупал щель пулевой струею — всей ощутнмостью своей продолженной руки, и впился свиицом в смотровую щель машииы. Таик круто рваиулся вполповорота вокруг себя иа одной гусеиице и замер на месте: он подчинился смертиому судорожному двнжеиию своего воднтеля. Возле танка встал иа мгиовение в рост Красиосельский н метиул в иего бутылку; чериый смолистый дым подиялся с тела машины, затем нз глубииы дыма появился огоиь и заиялся высокнм жарким пламеием.

Цибулько бил из пулемета уже по другим таикам. Сначала ои давал короткие прицельиые, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длииной жалящей струей. Красиосельский н Юра Паршин действовали за шоссейной иасыпью. Оин ютились в воронках, за комьями разрушеииой земли, за телами павшнх овец, вставали на момент и метали бутылки н гранаты в ревущие механизмы.

Фильчеико и Одницов ожидали за иасыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветнлнсь сняющим пламеием еще два танка. Осталось в жнвых четыре. Но немцы скупы иа потери, оин свое добро ие любят тратить до конца.

Четыре танка прностаиовилнсь и развериулнсь на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора! — крикиул Фильченко.— Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько воизил струю огня в пехоту протнвнника, сразу залегшую в землю.

Фильченко н Одиицов переброснлнсь через насыпь. Но

Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход: они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что; они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссейной дорогой низко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить; день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок.— Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?

— Разрешаю,— значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас,— поклонился кок.— Где прикажете накрыть стол под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок.— Вы же тут поспеваете овец заготовлять, о вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж как в деревне, на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе,— а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук,— объяснил кок Рубцов,— оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой,— отверг кок такое предположение.— А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько.— Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость,— сознался кок.— Ну,

я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну, так,— сказал кок,— пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов.— Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста,— пригласил кок,— у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет,— сказал Одинцов,— у него и талант, и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу-ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи.— Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении,— тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко.— Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас,— сказал Цибулько, сосчитав машины,— ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно не серьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я, Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

— И костями можно биться,— произнес Паршин.— Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко.— Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам

стоять иа этой земле и ие умирать, чтобы драться долго, пока мы ие поломаем здесь машииы и кости врага!

Цибулько подошел к Фильчеико и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели иа вечиую память друг другу в лицо.

С успокоеииым, удовлетвореииым сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал иа свое место каждый краснофлотец. У иих было сейчас мирио и хорошо иа душе. Оии благословили друг друга иа самое великое, иеизвестное и страшиое в жизии, иа то, что разрушает и что создает ее,— иа смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречеи той же участи, превозмогла страх. Тело их иаполиилось силой, оии почувствовали себя способиыми к большому труду, и оии поияли, что родились иа свет ие для того, чтобы истратить, уиичтожить свою жизнь в пустом наслаждеиии ею, ио для того, чтобы отдать ее обратио правде, земле и иароду,— отдать больше, чем оии получили от рождения, чтобы увеличился смысл существоваиия людей. Если же оии ие сумеют сейчас превозмочь врага, если оии погибиут, ие победив его, то на свете иичто ие измеиится после иих, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели иа таики, идущие иа иих, и желали, чтобы машииы шли скорее; лишь смертиая битва могла их теперь удовлетворить.

На флаиги подразделеиия Фильчеико вышли из-за таиков автоматчики; их прииялн огием моряки и краснофлотцы Фильчеико и та полурота, которую привел комиссар Лукьяиов. Зиачит, у флаигов Фильчеико была своя забота, иа помощь их рассчитывать было нельзя. Да и флаиги Фильчеико, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый флаиг силою полбатальоиа.

Там, иа флаигах, разгорался частый стрелковый бой, но в цеитре, иа лииии хода таиков, Фильчеико велел прекратить стрельбу, чтобы не обиаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с таиками должеи иачать Василий Цибулько. Фильчеико приказал ему выждать, дав машинам приближеиие метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все таики за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько иачал битву: ои давио уже иасторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, те-

перь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цнбулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головиого таика, машииу заиесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел иа шоссейиую насыпь, наехав почтн в упор на подразделеиие Фильчеико. Мгновеиио, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близкнм взрывом и сбнта с ног воздушиой волиой. Танк замер на месте, затем медлеино от собствеиного веса сполз юзом по противоположиому откосу, на котором еще оставалась иа весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударнл своей левой рукой о камень, чтобы из рук вышла боль, ио боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая, сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она ие мешала, но нечем было это сделать и иекогда тем заииматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о ранеиой руке и заставнл ее действовать как здоровую. Ои снова припал к пулемету и бил из иего в упор по машинам, норовя поразить их в служебиые скважнины брони. Но пулемет затнх, питать его больше стало иечем: прошла последняя леита. Тогда Цибулько, не давая жнзни машинам, бросился в рост иа блнжиий таик н швырнул под его гусеиицу, евшую землю на ходу, связку граиат. Раздался жесткнй клокочущнй взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушениый танк умолк навечно.

Цибулько ие слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь ои почувствовал, что в теле его поселились словио мелкне посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в жнвоте, в груднн, в горле. Он понял, что весь нзранен, он чувствовал, как тает, исходнт его жизнь и пусто и прохладно становнтся в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красиосельскнй не дал другому таику хода на Севастополь; ои выбежал к нему наперерез и броснл в него раз за разом три бутылкн с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарнщам; еще четыре танка вырвалнсь и бнли, устрашая, с ходу из пушек и пулеметов.

Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горючая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму так, что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин.— Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет,— произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета, и он умрет, как глупая кроткая тварь,— на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по

ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная, тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сáма гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем

своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву, под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер,— сказал Одинцов.— Нам тоже пора.

Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Данил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они

одолеть ие умели, а быть побеждеииыми им тоже не хотелось.

И вот все окоичилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделеиия, которым комаидовал полнтрук Фильчеико, остались видимыми лншь мертвые таики и один живой человек. Живым остался однн Василий Цибулько, он поинмал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Ои выполз иа бровку шоссе в стороие от места боя танков со свонми товарищамн и видел почтн все, что было там совершено.

Теперь ои увидел, как с рубежа обороиы подходила к шоссе рассыпиым строем иаша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясио, то перед ннм померкал свет и он забывался.

Очиувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узиал среди инх комиссара Лукьяиова. Люди перевязалн Цибулько, потом поднялн иа руки и поиесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и ои, как мог, иачал рассказывать нм и Лукьянову, тоже иесшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать ои ие успел, потому что умолк и умер.

НА МОГИЛАХ РУССКИХ СОЛДАТ

Путь человека может быть сужен колючей проволокой и сокращен поперечными препятствиями — камерами допросов и пыток, карцером и могилой.

Именно этой узкой дорогой, огражденной дебрями колючей проволоки, и мимо подземного карцера мы проходили вослед замученным, вослед умершим советским солдатам и офицерам.

Это место находится недалеко от Минска, у деревни Глинище, возле железной дороги Минск — Молодечно. Здесь недавно был лагерь советских военнопленных; у немцев он назывался шта-лагерь № 352.

Немцы щедры на смерть. Их наука, в которой они сделали серьезные успехи, заключается в познании того, что не надо, что губительно для жизни человека, и немцы пристально, пристрастно наблюдают все явления природы, которые могут быть использованы для уничтожения враждебной им жизни, и фашисты использовали их на практике. Так, в том шта-лагере № 352, который мы посетили, до сих пор местность заражена блохами. Теперь, сравнительно, блох осталось ничтожное количество, но прежде, когда здесь обитали свой короткий предсмертный срок советские военнопленные, в лагере существовали миллиарды блох. Давно известна казнь посредством муравьев, известна также пытка повторяющейся долбящей каплей воды. В дополнение к этому знанию фашисты открыли, что достаточное, великое множество блох может измучить тело человека до того, что он расчешет его до костей, что он дойдет до безумия, что он обессилеет и падет в тщетной борьбе с мелким, но неисчислимым гадом, блохой.

С немецкой точки зрения, блоха, как и вошь, хороша тем, что она умножает среди обреченных некоторые заразные болезни и в этом действует как одна пуля на сотню

людей, умерщвляя их всех и тем экономя металлические боеприпасы. Немцы это учли в шта-лагере № 352, но они учли также и то неудобство, что блоха не понимает разницы меж русским и немцем, и тот административный немец, который сам жил в лагере, вынужден был ограждать себя от блох дополнительными мероприятиями, что вызвало расходы и хлопоты, поэтому работа блох не являлась совершенной. Такое обстоятельство, возможно, озадачило немецкую мысль и поставило новую проблему перед их главной наукой — наукой о массовом, быстром, экономном и бесследном истреблении человечества. Эта проблема заключается в изобретении блохи, не вкушающей немца.

В комбинате лагерей вокруг Минска — хутор Петрошкевичи, урочище Уручье, урочище Дрозды, деревня Тростенец, урочище Шашковка, деревня Малый Тростенец, Тучинка — и других фашисты применяли всю, так сказать, композицию средств истребления, от голода до газа и огня, всю свою «промышленность» для производства массовой смерти советского народа. И более того, они ввели здесь утилизацию золы и пепла от сожженных трупов для удобрения почвы в подсобном хозяйстве, продукты с которого шли на улучшение стола немецкой полиции (урочище Шашковка, что в полкилометре от деревни Тростенец). Мы уже знаем, что в Майданеке немцы собирались применять или применяли водогрейки-кубы с круглосуточной горячей водой для палаческих команд; эти водогрейки устанавливались на кремационных печах и обогревались отходящими газами печей, улучшая термический коэффициент использования тепловых установок. Здесь, в Шашковке, немцы открыли, пожалуй, наиболее совершенный способ бесследного уничтожения людей: они нашли последнее звено или заключительный процесс безостановочной обработки трупов. Это последнее звено им дала «агрохимия». То количество несгораемого праха, которое роковым образом все же остается от человека и является как бы уликой обвинения, может быть, оказывается, погружено в поверхность почвы, включено в химическую жизнь земли, использовано растениями на свое произрастание, и таким образом оно расточится без остатка и уйдет в вечную тайну, не оставив никаких улик. Кроме того, утилизация трупной золы в земледелии окажет серьезное влияние на повышение урожая, но это уже пойдет немцам в качестве премии за их инициативу, за их рациональные мероприятия.

Пепел шашковской кремационной печи, разбросанный

на полях полицейского подсобного хозяйства, является фактом всемирного значения, даже в наше время великой трагедии человечества, когда любое действие немцев, примененное ими с целью подавления и истребления свободных людей, уже не кажется новым. В шашковском пепле есть одна принципиальная новость или особенность: пепел трупов шел в конце концов на пищу палачам, иначе говоря — тот, кто умерщвляет, сам вынужден питаться остатками умерщвленных; это, само по себе, является предзнаменованием великого возмездия.

В Шашковке сохранились живые свидетели. Они видели этот пепел удобрения для полицейских огородов. Они видели более того — в Шашковке была лишь одна печь, и притом довольно кустарного устройства (печь-яма); естественно, что печь работала с перегрузкой, потому что палаческие команды получали большие задания по уничтожению. Свидетели показали, и детальный осмотр этой печи подтвердил, что расстрелы наших людей производились возле самого устья печи; когда же у немцев не было желания сначала расстреливать людей возле печи, а потом засовывать их трупы в печь, то есть совершать лишнюю работу, они приказывали обреченным влезать в печь самостоятельно, живым порядком, и расстреливали их уже внутри печи, а затем предавали сожжению. В отдельных же случаях, из экономии палаческих сил или для разнообразия, группы людей взрывались ручными гранатами... На вопрос о технике удобрения полицейских полей мы получили ответ от старого крестьянина, что трупный пепел был не мелкий, в нем были и кости, и несотлевшие пленки, и остатки внутренних органов человека, так что на кожуре созревавшего картофеля можно было заметить, например, присохшую к нему пленку человеческого органа, может быть — человеческого сердца...

В шта-лагере № 352 (для военнопленных) немцы обходились без «агротехники»; они здесь организовали для наших бойцов и офицеров массовую смертную агонию. Агония и быстрая последующая гибель десятков тысяч наших военнопленных устраивались простыми начальными средствами: голодом и непосильным, изможлающим физическим трудом. Затем страдания нарастали уже как бы сами по себе и вскоре приводили пленного воина к смерти. Голод, изможление, отсутствие всякого лечения и условий хотя бы для кратковременного отдыха и покоя, скученность, насекомые, моральное подавление, нечистота, холод — все

это мгновенно размножало болезни: тиф, дизентерию, скоротечную чахотку.

Но фашисты, организовав в лагере 352 массовую агонию смерти для наших солдат и офицеров, не могли предоставить дело на самотек, чтобы одна эта агония постепенно унесла все жертвы в могилу. Немцы торопили и агонию: они убивали истощенных, умирающих советских воинов, до конца сохранявших свое достоинство, уходящих в вечность с открытыми глазами солдата и с терпеливым мужеством героя.

Вскрытие лишь одной массовой могилы на кладбище возле лагеря 352 показало следующее. В могиле лежали трупы мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были без одежды, все голые. На трупах явственно были заметны увечья: повреждение черепов и головного мозга, у многих были размяты грудные клетки с обширными прижизненными повреждениями позвонков и переломом ребер и другие физические признаки пытки, увечья и убийства.

Все они были воинами Красной Армии, нашими солдатами и офицерами. Их личные документы, некоторые сведения об их жизни теперь находятся в наших руках: немцы не смогли или не успели их уничтожить.

Следы мучительной пытки на трупах наших павших воинов, провалы ранений, нанесенных тупыми, твердыми, тяжелыми предметами с огромной силой, являются доказательством, что и в плену, в агонии, накануне смерти наши воины продолжали сопротивление врагу, и там они, уже безоружные, действовали как верные, непобежденные солдаты, вооруженные, как мечом, твердостью чести и духом долга; это согревало их холодеющее сердце в их последней обороне.

Кто же они были?.. В двухстах метрах от лагеря расположено кладбище. По официальным данным, на этом кладбище захоронено не менее 80 тысяч человек наших бойцов и офицеров. Действительное число жертв, после дополнительного и более точного расследования, несомненно, значительно увеличится. Столько покоится наших людей лишь на этом, на одном кладбище, у деревни Глинище. Массовые могилы уже утратили подобие могил — они похожи на глинопесчаные бесплодные площади, приподнятые на полметра над окружающей местностью; некоторые из них имеют размер по поверхности до 40 метров в длину и до 30 метров в ширину. Могила не как холм в память погребенного здесь человека, но могила как безымянная площадь,

далеко и все более распространяющаяся по земле,— это есть новое архитектурное произведение главного немецкого зодчего Гитлера: оно, однако, может идти в сравнение с другим изобретением германского духа — трупным пеплом как удобрением для полицейских огородов; между прочим, в этой «агрикультуре» действительно есть какой-то экономический смысл самоокупаемости немецких палачей — самоокупаемость зверя — съешь убитого.

Далее творчество злодеев как бы усложняется. Оно принимает символическую форму. Примерно посреди кладбища шта-лагеря № 352 стоит большой крест. На кресте штампованная фигура Иисуса Христа из серого дешевого металла; ниже подножия Иисуса надпись по-русски: «Могила неизвестных русских солдат».

Здесь немцы ошиблись: русские солдаты, убитые, замученные и похороненные в могилах-площадях, в большинстве своем известны нам по именам, потому что документы о них остались, а следовательно, мы можем восстановить и их жизненную биографию; значит, определение в эпитафии — «неизвестные» — неправильно: нам известны наши солдаты, и мы сохраним их в памяти народа поименно, лично и отдельно, потому что мы народ, а не стадо.

Другая ошибка немцев гораздо серьезнее. Этим крестом с формально вежливой эпитафией враг хотел обмануть нас или кого-то другого, он хотел взять нас «на бога»: вот, дескать, и мы отдаем должное умершим. Но под этим крестом, в могилах-площадях лежат даже не целые трупы, а раздробленные скелеты. Зверь, конечно, может быть сентиментальным, но здесь нет и сентиментальности, здесь нет и подобия содрогания убийцы над прахом своих жертв. Здесь есть обыкновенный расчет глупого злодея — обмануть всех; глупец всегда уверен в своем уме и в своем благородстве, но более всего он уверен, что он обманет всех, а его никто. Но злодеев и не следует обманывать, их нужно уничтожать. В свое уничтожение злодей обычно не верит, а когда ему придет возможность удостовериться в своей гибели — он не успеет этого сделать и все равно не поверит; он и тогда попытается перехитрить всех, чтобы как-нибудь выкрутиться.

И посейчас стоит этот крест над сотней тысяч трупов советских солдат, убитых и умерщвленных в плену, в нарушение и поругание не только всех международных конвенций о военнопленных (об этом мы и не собираемся немцам напоминать), но и в надругание над честью и достоин-

ством воина (убийство безоружного вне поля брани). Фашисты не знают смысла существования солдата и разума его действий, именно потому они и шумели о себе, как о солдатской нации, более чем любой другой народ, подобно тому как импотент более всех интересуется плодовитостью; и скажем еще, что именно отсутствие истинного, одухотворенного воина в рядах германской армии является одной из причин поражения фашистской армии. Немцы воспитали из своих солдат убийц, но действительный солдат — противоположность убийцы: смысл его близок смыслу матери. Если немцы захотят понять точнее, что это означает, пусть они обратятся к хорошо известным им русским солдатам...

Вокруг этого креста, памятника глупого, жестокого и самонадеянного лицемерия, сейчас осыпаются листья берез; стоит глубокая осень; шумит ветер в голых мертвеющих ветвях. Сколько великой юной силы навеки вдавлено немцами в эту землю!.. На некоторых могилах (всего их здесь около двухсот) есть маленькие деревянные кресты с дощечками, и на дощечках тех надписи — десять, пятнадцать фамилий, иногда указан и год и даже место рождения. Годы рождения: 1915, 1917, 1918, 1920, 1922-й... Иным из нас это будут братья, а иным уже дети. Это наши дети лежат. После десяти, пятнадцати фамилий немцы скромно добавляли: «и другие». Так можно у заставы большого города повесить доску с перечислением жителей и написать на ней: «Иванов, Петров и другие». Большие могилы-площади не имеют таких именных досок; у фашистов не хватало фантазии на них написать: «Здесь лежит всего один человек».

Население мертвых, погибших в лагере 352, столь велико, что мы здесь находим и знакомых товарищей: Чумаков Георгий, Шмаков Сергей, Артемов Петр, Климентов Никита. Двое из них сержанты и двое — офицеры. Сержант Климентов Никита до армии был рабочий человек; он был буровым мастером на бурении глубоких разведочных скважин. Некогда он говорил мне, что когда-нибудь он пробурит в Советском Союзе такую глубокую скважину, что алмазный бур его достигнет великого подземного ювенильного моря — водоема девственной воды. Петр Артемов был поэтом. У него было впечатлительное разумное сердце художника, но у него не стало теперь жизни; немцы обратили его молодые кости в мертвый минерал, и кровь его стала лишь трупной жидкостью.

Но не все, далеко не все наши военнопленные лежат в окрестностях Минска на одном этом кладбище. В урочище Уручье есть десять огромных ям-могил. Там лежат трупы в семь слоев. Все трупы уложены вниз лицом, на многих из них сохранились остатки одежды и обуви. Среди этих трупов много наших танкистов, в карманах у них сохранились всякие документы; самому старшему из них более тридцати лет. В могилах обнаружены целые насыпи стреляных гильз немецких винтовок; почти все военнослужащие, погребенные здесь, были застрелены в голову, причем расстрел военнопленных производился из винтовок и карабинов на очень близкой дистанции...

По предварительным подсчетам, в окрестностях Минска уничтожено не менее полутораста тысяч советских военнопленных, солдат и офицеров. Дальнейшее расследование может только увеличить эту цифру. Уничтоженное гражданское население не входит в указанное количество.

Невдалеке от некоторых могил и посейчас еще можно найти предметы и имущество, принадлежавшие живым,— гребенки, зубные протезы, ножики, солдатские котелки, пучки волос, костыли инвалидов, женские и детские башмаки, медные денежки, обрывок письма от матери — бедное добро мертвых...

В сумерки на пустынное военное кладбище бывшего шта-лагеря № 352 пришла одинокая женщина. Она опустилась на колени возле могилы, на которой была доска с именами погребенных.

Женщина вначале была безмолвной, а потом стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую, вечную ночь.

Трудно утешить эту женщину и нашу общую мать — Родину. Но наша любовь к своему живому народу и наша память о мертвых и замученных обращена яростью и мщением к убийце-врагу, она действует огнем и оружием. Наша ненависть к противнику питается нашей любовью к своему народу, и поэтому наша энергия мщения неистощима.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима,— во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда оно соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть, последнем убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существованья.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на

жизнь, и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.

Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно,— им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии,— значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой, раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку и дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне,— я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит.

Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.

Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то сообразил, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищете? — спросил я у немца.

— Да,— ответил Вальц.— Где он?

— Не знаю, здесь темно,— сказал я,— и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою: каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая, и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.

Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.

Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою,— сказал мне Вальц.— А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук,— ответил я.— Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом

Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.

Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата,— от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если бы он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней,— и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки,— и поэтому химический, мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца.— Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа,— с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне.

— Русский народ будет убит,— убежденно сказал он.— А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрыва-

лось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.

И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества!

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежачего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет!

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Фашист ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежат Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить! — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли. Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище, и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.

Артиллерийская пальба снаружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как го-

ворили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе, он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю...

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори,— нас обоих, может, убьет и завалит здесь,— я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю,— повторил Вальц.— Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца.— Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц.— Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

— Говори,— приказал я немцу,— говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство над всем миром.

В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует,— на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно.

Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существоваиие; лицо Вальца было теплое,— значит, этот человек действительно иаходился возле меия.

— Это все Гитлер тебя иапугал и научил,— сказал я протнвиику.— А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я ие сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а ие фюрера! — сказал я врагу.— И прожнл бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, иедопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликиул иемец.

Я не согласился.

— Стало быть, ты что же — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а ие человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц.— Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначнт меия фюрер!

Бой сразу остаиовился на поверхиости земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разиые стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я иасторожился, потому что мие теперь было страшио; прежде я постояино слышал стрельбу своих пулеметов и виитовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родиых голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли. Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу.— Мне некогда тут быть с тобой!

Ои понял меня, что я должеи убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, ио мгновенио он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхаиие. Я не привык к такой манере воевать, и мие это не поиравилось. Поэтому я ударил иемца в подбородок, ои отодвинулся от меия и замолк.

— Ты зачем так иахально действуешь? — заявил я врагу.— Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену,— значит, ты не уйдешь, и ие царапайся!

— Я обер-лейтенаита боюсь,— прошептал неприятель.—

Пусти меня, пустн меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не повернт мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского надо убнть.

Я взял врага рукою за ворот и прнвлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью,— говорнл Вальц.— Мне надо убнвать, чтобы самому жить. А еслн я не буду убнвать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода н печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состарншься н тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертямн сзадн пугают, чтобы ты одной впереди не боялся! — сказал я Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец.— Четвертой я не хочу, я сам буду убнвать, я сам буду жить! — вскрнчал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как н он.

— Где, где ты будешь жнть! — спроснл я у врага.— Гнтлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между свонми тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго,— сказал он.— Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставнл я вопрос дурному врагу.— Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — восклнкнул Вальц.— Он не оставнт мое семейство: он даст хлеб жене н детям — хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жнть,— сказал лежачий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй,— сообщнл я неприятелю.— Ты и детей свонх согласен обречь на голод и смерть радн Гнтлера.

— Я вполне согласен,— охотно и четко сказал Рудольф Вальц.— Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной,— сказал я немцу.— Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да,— сказал Вальц,— он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня,— уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться,— сказал я противнику.— Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически доказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может,— значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне,— говорил мне Вальц.— Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтобы их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста! Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерланд, я хочу домой, в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил.

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц.— Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь?

— Не будет нам смерти!! — сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовольствие, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и

любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть этн существа пережуют, иссосут н раскрошат фашнста: онн совершат работу одушевлення мира своей кроткой жнзнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила двнжение смертн в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гиой его существа пропитался в землю, очнстился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алексей Алексеевнч Иванов, гвардин капнтан, убывал из армнн по демобнлнзацин. В частн, где он прослужнл всю войну, Иванова проводилн, как н быть должно, с сожаленнем, с любовью, уваженнем, с музыкой и внном. Близкне друзья н товарнщн поехалн с Ивановым на железнодорожную станцню и, попрощавшнсь там окончательно, оставнлн Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгне часы, а затем, когда этн часы нстеклн, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, н Иванов вернулся на попутной машнне обратно в часть. На другой день сослужнвцы Иванова снова его провожали; онн опять пелн песнн и обннмалнсь с убывающнм в знак вечной дружбы с ннм, ио чувства свон онн затрачнвалн уже более сокращенно, и дело пронсходнло в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашннй поезд все еще не прнбыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущностн, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третнй раз пережнвать проводы, беспоконть товарнщей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелкн станцнн стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будкн сндела женщнна в ватнике н теплом платке; она н вчера там сндела прн своих вещах н теперь сндит, ожндая поезда. Уезжая вчера иочевать в часть, Иванов подумал было — не пригласнть ли и эту одннокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет лн она обогреться в будке стрелочннка. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщнне.

Теперь эта женщнна по-прежнему неподвнжно находн-

лась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее.

Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость — и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть,— сказал Иванов,— а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу:

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите?..

— Отцы у дочерей не спрашивают,— засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей за спину мешок, Но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое

детей, которых он ие видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный н тревожиый час свндания с семьей. Ои сам ие зиал, почему так делал, может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейиого положения Иванова и по девичьей застенчивости не спроснла его о нем. Она доверилась Иваиову по доброте сердца, ие думая более ии о чем.

Через два дия Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иваиов привычно поцеловал ее и любезио обещал вечио помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ н сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не иадо, и вы все равно забудете... Я же иичего ие прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давио ие встретнл вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давио-давно меия совсем не было...

Поезд пришел, и онн попрощались. Иванов уехал и не вндел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что иикого ие могла забыть: ии подруги, ии товарища, с кем хоть одиажды сводила ее судьба. Иваиов смотрел через окно вагоиа на попутиые домнки городка, который ои едва ли когда увидит в своей жнзни, и думал, что в таком же подобиом домике, ио в другом городе, живет его жеиа Люба с детьми Петькой и Настей, и оии ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что ои без промедления выезжает домой н желает как можио скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васнльевна, жеиа Иваиова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Оиа отпрашивалась с работы, ие выполняла иормы н по иочам не спала от радости, слушая, как медлеино и равиодушио ходит маятиик стеииых часов. На четвертый деиь Любовь Васильевиа послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы оин встретили отца, еслн ои приедет днем, а к иочиому поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой деиь. Его встретил его сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узиал своего ребеика в серьезиом подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый н худощавый мальчуган, ио зато головастый, лобастый, и лицо у иего было спокойиое,

словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе.— Знать, отец.

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально,— сказал Петр.— Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело,— согласился отец.— С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсее-

вич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами, обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка.— Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку: стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сей-

час и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешенный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка.— Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас,— послушно говорила мать.— Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его,— сказал Петрушка.— Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь,— кротко произнесла мать.— Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у иего вырос такой сын, н теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Зиачит, они давно приучены работать по дому.

— Люба,— спросил Иванов жену,— ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юностн, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали,— тихо произнесла Любовь Васильевна.— К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видио будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не зиаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибиешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточ-

но. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей,— тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр,— обратился к нему отец,— крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно,— нахмурившись, произнес Петрушка,— а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть,— простосердечно сказала Любовь Васильевна,— а ему жалко.

— А вам ничего не жалко,— равнодушно сказал Петрушка.— А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти.— Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая,— сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать.— Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов.— Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки,— сказала Настя отцу,— дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака,— проговорил Петрушка,— свинцовые плывут, из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и

чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок где хочешь иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами:

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть,— указал всем Петрушка.— А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу,— покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду,— пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять,— улыбнулась Любовь Васильевна.— Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.

— Правильно сделала,— сказал Иванов,— детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может,— высказался Петрушка.— Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил прицenялся, есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся,— сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе,— уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день: наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее

время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке,

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро,— он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся,— тихо говорила мать.— Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви,— сказал отец.— Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала,— зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать.— Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!..— говорил отец.— У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно,— подумал он,— пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать.— А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать,— серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Не важно, он взамен другую, готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша,— заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы.— Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? — а он отвечал им, потому что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтобы тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец.— Не заду-

ривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать.— Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет... Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно,— спрашивает меня,— я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так,— сказал отец.— Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся,— думал Петрушка на печи,— помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась,— по-доброму произнес отец...

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так сделал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе,— говорила мать.— А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, что он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая»,— прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз,— сказала мать.— Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое,— произнес отец.— Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец.— Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

— Я не пропала,— прошептала мать,— я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

— Не знаю,— шептала мать.— Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты,— проговорил отец.— Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома,— сказал он.— Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа,— сказал он сам себе.— Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать.— Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил,— догадался Петрушка,— стекол нету нигде».

— Ты руку себе порезал,— сказала мать.— У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.

— Замолчи! — закричал отец на мать.— Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась:

— Мама! — позвала она.— Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи... опустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду,— ответила мать.— И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец.— Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка.— Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец.— Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю,— отвечал Петрушка с печки.— Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял,— сказал отец.— Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет,— сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился: не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была». А сам смеется, и тетя

Аиюта смеется, потом оиа сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше иигде иету, ои фашистов убивал, н от разных женщии ему отбоя нету. Дядя Харитои все иам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучио прииимает. А теперь они живут смирио, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, ои говорнт: «Обмаиул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки ие было, ии Нюшки, ии Апроськи ие было, и Магдалинки иадобавок ие было, солдат — сыи отечества, ему иекогда жить по-дурацки, его сердце против иеприятеля лежит. Это я иарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иваиов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукии сын какой! — размышлял отец о сыие.— Я думал, он н про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморнлся и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего ие сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Оиа сидела иа полу и листала киижку с картиками, которую давио еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый деиь, потому что другой книги у иее ие было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего киижку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре.— Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухие н в комнате.— Ои взял свой мешок?

— Он взял свой мешок,— сказала Настя.

— А что ои тебе говорил?

— Ои ие говорил, а в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так,— сказал Петрушка и задумался.— Вставай с пола,— велел он сестре,— дай я тебя умою почище и одеиу, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час иа вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери

пространщика, у которой волосы пахли природой. Одиако там видно будет, как оно получится, вперед иельзя угадать. Все же Иванов иадеялся, что Маша хоть иемиожко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с иего достаточно: значит, и у него есть иовый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видио будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Ои взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меия,— думал Иванов.— Оиа мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ией не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Ои вошел в тамбур вагоиа и остался в ием, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз иа небольшой город, где он жил до войны, где у иего рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагоиа, потому что улица, на которой стоит дом, где ои жил, выходит иа железиодорожиый переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станциоиные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагоиа и смотрел из тамбура иа домики, здания, сараи, иа пожариую калаичу города, бывшего ему родным. Ои узиал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая иа кирпичиом заводе; там работала сейчас Люба у кирпичиого пресса; пусть оиа живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, ио что это зиачит? Все равио его сердце ожесточилось против иее, и иет в ием прощеиия человеку, который целовался и жил с другим, чтобы ие так скучно, ие в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то что Люба стала близкой к своему Семеиу или Евсею потому, что жить ей было трудио, что нужда и тоска мучили ее, так это ие оправдаиие, это подтверждеиие ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ии в чем ие иуждался и ие тосковал, он никогда ие полюбил бы другого человека.

Иваиов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, ие желая смотреть в последиий раз на дом, где ои жил и где остались его дети: ие иадо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железиодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в

город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога: лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда, в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу,— от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были

его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка попрежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

СЕРЖАНТ ШАДРИН

(История русского молодого человека нашего времени)

Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека. В свое время по почину Максима Горького и под его редакцией была издана большая серия романов «История молодого человека 19-го столетия». Герои этих романов — молодые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди всех поколений века, носители почти всех идей своего времени, люди разной судьбы, но сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже сломлена, была устремлена к делу или подвигу — в той степени, в какой им дано было это понимать.

Мы не судьи им, молодым людям девятнадцатого столетия, но мы можем сравнить жизнь или судьбу молодого человека прошлого века, даже самого лучшего из них, с жизнью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда, трудно — столь велика разница и обстоятельств времени, и характеров людей, а главное — результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом, его усилиями, соединенными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родина и человечество от рабства и гибели и открыты дороги свободы в даль истории?..

Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего воина,— не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных молодых наших воинов.

Он родился в селе Елани Енисейского района Красноярского края. Родители его крестьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он

был приучен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая жизнь и воспитание и сделали из него, Александра Максимовича Шадрина, хорошего солдата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый труд, превратив его в непрерывный, почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин не образовался вдруг, когда он взял в руки автомат; он возник прежде, когда еще не знал боевого огня; характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа.

Свою службу, в 1941 году, рядовой Шадрин начал под Старой Руссой, в первом учебно-лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи:

— Работать надо, ребята! Работай огнем! Это лодырю страшно в бою, а кто работает — тому ничего.

Шадрин опомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели — по опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне: в бою надо быть неутомимо занятым своим делом — истреблением противника; тогда робость не войдет в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе.

В начале 1942 года Шадрин был ранен, но не тяжко. Весною того же года он опять вернулся в строй и воевал на Ильмень-озере, на Сонецком заливе, что против реки Ловать. Потом, осенью 1942 года, его часть отошла в тыл на переформирование и, усиленная, направлена была на Центральный фронт, на Курскую дугу. Время было тяжелое, но солдаты понимали, что без труда ничего не дается. Для того они и шагали тогда тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить Родину и переменить ее судьбу — от смерти к жизни.

Сейчас уже не может вспомнить Шадрин, сколько тысяч верст прошли его молодые ноги, и как в сновидении встают в его воображении сотни деревень, поселков и городов, малых, больших и великих, за каждый из которых был бой, за каждый из которых пали, уснув вечным сном, близкие товарищи. И сколько горя пришлось пережить

Шадрину, навсегда расставаясь с погибшими друзьями, сколько раз дрожало его сердце, когда он всматривался в последнюю минуту в дорогое утихшее лицо друга перед вечной разлукой с ним! Он не знал, как могло вместиться столь много чувства и памяти в одно солдатское сердце.

Он помнит одно придорожное кладбище. В стороне от дороги стояло несколько самодельных деревянных памятников, в форме пирамидок, с красноармейской звездой наверху. На памятниках написаны имена тех, кто погребен под ними; в некоторые памятники были вделаны фотографии погибших, но солнце, ветер и дожди быстро уничтожали изображения людей, чей образ должен быть вечен в памяти живых. Шадрин в сумерки проходил мимо этого кладбища. Он увидел там тогда одинокую пожилую женщину. Женщина опустилась на колени возле одной могилы. Сначала женщина была безмолвной, а потом она стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь.

Шадрин не знал, как нужно было утешить эту женщину-мать и можно ли было ее утешить в тот час. Но он знал, как можно утешить нашу общую Мать — Родину. Он знал и чувствовал, что ненависть к противнику питается любовью к своему народу, а образ народа явился перед ним в лице этой женщины, склонившейся над прахом своего сына.

Война нарастала в жестокости и беспощадности, в мощности оружия и длительности боев.

На Центральном фронте часть, где служил Шадрин, вошла в состав одной из армий. Первый бой на этом фронте, где дрался Шадрин, был под Муравчиком.

Немцы снова захотели здесь, на Курской дуге, повернуть войну в свою пользу и обрушили на нас мощный удар техники и живой силы. Несколько суток непрерывно шел бой. Разрывы снарядов временами были так часты на местности, что гарь и газ, земная пыль вытесняли чистый воздух, нечем было дышать, и бойцы чувствовали угар. Но они стояли на месте, чтобы не оставлять товарищей и довести врага до изнеможения и в этой битве грудь в грудь, а затем пойти вперед, на сокрушение его.

Шадрин узнал здесь, в чем есть сила подвига. Красноармеец понимает значение своего дела, и дело это питает его сердце терпением и радостью, превозмогающими страх. Долг и честь, когда они действуют, как живые чувства, подобны ветру, а человек подобен лепестку, увлекае-

мому этим ветром, потому что долг и честь есть любовь к своему народу и она сильнее жалости к самому себе.

Шадрин и его товарищи стояли здесь на свою смерть и на жизнь России. Они дрались с воодушевлением и яростью, и враг был истощен на месте, не двинувшись в глубину нашей земли. Здесь Шадрин снова был ранен. Но он видел и понимал, что если бы его взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы командование было неумелым, то он и его товарищи вовсе погибли бы.

Из госпиталя Шадрин опять вернулся в свою часть и снова пошел в бой. Это было под селом Красавка. Бой здесь был еще более ожесточенным, битва гремела одновременно почти по всей Курской дуге. После нескольких суток боев наши бойцы пошли вперед, противник был уже надломлен в духе и истощен в своей силе.

Снова Шадрин прошел мимо Муравчика, и далее солдат пошел далеко вперед — до самой победы в Берлине.

Он брал с боем Семеновку и Новозыбков Орловской области, вышел к Гомелю и на реку Десну. Он вошел в край многочисленных рек, и каждую нужно было форсировать под огнем врага, через каждую плыть на плотах или знаменитых подручных средствах, из них самым простым иногда оказывалось — вплавь на собственном животе.

Через реку Сож рота, где служил Шадрин, переправлялась под сплошным навесом огня противника, и Шадрин до сих пор помнит волны на Соже, гонимые разрывами снарядов против течения. В районе Речицы Шадрин переправился через Днепр, а в промежутках меж больших рек переходил с боем через десятки других водных потоков, и из них ни один не забыт в его памяти.

Путь солдата продолжался — сквозь огонь — на запад, по земле и через реки. Шадрин вышел на Ковельское направление, затем на Брест-Литовск и Владову на реке Буг. Это было уже очень далеко от Муравчика и Красавки. Шадрин уже сносил не одну пару сапог, но ноги его шли вперед хорошо.

Изменилась природа вокруг него, изменился вид городов и сел, и сам Шадрин изменился — он дрался теперь спокойнее, точнее и лучше, чем когда-то под Старой Руссой.

После боев за Люблин, за Прагу Варшавскую, затем за всю Варшаву Шадрин прошел пешим маршем с боями пятьсот семьдесят километров за четырнадцать суток — от Варшавы до Дойч-Крона, что на правом берегу Одера.

Перед этим походом Шадрии иаходился иа высоте «119» под Рушполье. Немцы контратаковали эту высоту много раз и большими силами. Пали смертью храбрых многие товарищи Шадриia, пали все офицеры; тогда сержант Шадрии прииял иа себя командоваиие ротой, и высота осталась за иами. Высота после боя измеиилась от огия, оиа стала как бы меиьше; Шадрин устал, ио ие измеиился.

После Рушполья Шадрии шел четыриадцать суток, в средием по сорок километров в сутки, сбивая по дороге противника, иагружеииый, кроме личиых вещей и снаряжеиия, мииометом. Одежда сиашивалась иа ием, истирался от огиевой работы металл оружия, ио Шадрии, когда приходилось как следует поесть и выспаться, ие чувствовал, чтобы тело его оплошало или душа стала равиодушиой.

Здесь было идти веселее, чем ходить по России в сорок первом или сорок втором году.

Из Дойч-Кроиа часть, где служил Шадрии, переправилась иа левобережиый плацдарм Одера, а оттуда — иа восточиую окраиину Берлииа.

Здесь Шадрии сел иа броию таика, обошел Берлии с запада и после двухсуточиого боя ворвался в Потсдам. Здесь бой был особый, ои проходил и иа земле, и под землей, в тоииелях, в подвалах, в подземиых галереях, во мраке глубоких казематов и в буикерах.

Деиь и иочь работал Шадрии у миииометов; душевиое удовлетвореиие успешиым боем поглощало без остатка утомлеиие советского вoииа. На его глазах зло мира обращалось в руииы, и его миииомет превращал в трупы живую силу зла — фашистских солдат.

После завоеваиия Берлииа Шадрии пошел далее на запад, к реке Эльбе. Здесь сиова был бой. Сутки иепрерывио дрался Шадрии иа Эльбе, ио это был уже последиий бой войиы. После боя Шадрии умылся в Эльбе, лег иа землю и посмотрел иа иебо. Ясиость иеба и его бескоиечность были родствеииы его душе. «Все! — сказал вслух Шадрии.— Свети теперь, солице, а иочью — звезды!» — и усиул.

На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемиевшим от ветра и солица лицом, пришедший сюда из Сибири. Ои спал сейчас счастливым, с выражеиием кротости иа измождеииом лице. Ои совершил то, чего никто еще ие совершал; велика его ду-

ша, благотворно его дело и прекрасна его молодость, вся исполненная подвига.

Это было седьмого мая 1945 года.

С тех пор миновало уже много времени. Шадрин попрежнему служит в Красной Армии. Останется ли он в ней пожизненно или уйдет в гражданскую жизнь на свою родину, в Сибирь,— неизвестно. Но пожизненно останется в душе Шадрина чувство вечной, кровной связи с армией, ставшей для него семьей, домом и школой за годы войны. Пожизненно долг и честь останутся законом его сердца и поведения, и пожизненно он будет тружеником — на хлебной ли ниве, в мастерской завода или в солдатском строю,— потому что он воспитан в подвиге, а подвиг есть высший труд, тот труд, который оберегает народ от смерти. И этот новый труд солдата подобен жертве матери, рождающей народ. И так же у нас священно существо солдата, как священна мать.

ОФИЦЕР И КРЕСТЬЯНИН

(Среди народа)

Деревню Малую Верею майор Александр Степанович Махонин занимал уже дважды, но оба раза оставлял ее, потому что фашисты направляли по десять и пятнадцать танков и по два полка пехоты против одного его батальона. Александр Степанович не мог понять столь жертвенной борьбы врагов ради удержания незначительного населенного пункта. Местоположение Малой Вереи и ее тактическая ценность в плане обороны противника не давали оправдания для защиты Вереи во что бы то ни стало. Майор Махонин любил вникать в мысль противника; но здесь, в сражениях за Малую Верею, он не мог угадать здравого военного расчета неприятеля, глупости же его он из осторожности не хотел допустить. Уже и мощный узел немецкой обороны на грейдерной дороге, что на левом фланге, был оставлен противником, и справа от Вереи наши войска тяжким прессом далеко вдавались вперед дугой по фронту, а фашисты не жалели своих войск и машин, чтобы ужиться на этой избяной погорельщине у проселочной дороги. И поэтому наши войска в третий раз штурмовали Малую Верею, и в третий раз майор Махонин въезжал в эту деревню, сотлевшую в прах, но все еще невидимо живую. Здесь Махонин двое суток тому назад беседовал с одним жителем-стариком: жив ли он теперь? Беседа их не была тогда закончена; они расстались по чужой воле, не желая расставаться.

Старый крестьянин был жив. Он сам вышел на дорогу — опытный житель войны — и приветствовал русского офицера:

— Здравствуйте, Александр Степанович! В который раз мы с вами встречу делаем, и все без ущерба живем...

— Без ущерба, Семен Иринархович,— сказал майор.— Смерть еще, видно, заслужить надо, чтоб от нее добро и польза народу была, а так зачем же ущерб терпеть?.. Здравствуй сызнова, Семен Иринархович!

— Здравствуй, Александр Степанович... Правда твоя — и смерть даром не дается, ее тоже еще надо заслужить, а зря к чему же со света уходить! Правда, правда твоя!.. Да ведь и так можно сказать, Александр Степанович, ты, конечно, и сам о том чувствуешь, что ведь надо кому-нибудь и на земле дежурить остаться, чтобы безобразия на ней не было... Без нас-то, глядишь, и непорядок будет. Нам тут надо быть...

— Надо, надо, Семен Иринархович,— говорил майор Махонин.

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже усыхающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу, светлыми впечатлительными и нежными глазами, которые наш народ называет мнительными. Этот старик, как он сам сообщал, еще до войны сумел своим сердцем добыть из местной отощалой почвы столь тучный урожай льна и конопли, что его пригласили на выставку в Москву, чтобы показать всему народу этого тщедушного, но хитроумного труженика. Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем выражением спокойствия и долготерпения на лице, которое бывает у людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят лет и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы на его лице,— или то были черты постоянно сдерживаемой крайней впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина все еще была слышна молодая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера.

Майор и крестьянин не окончили своего разговора, начатого в прежний раз, тоже после штурма деревни.

— Ну как, теперь-то надолго к нам, Александр Степа-

новнч? — спросил крестьяннн.— Пора бы уж быть у нас неотступно...

— Теперь навек, Семен Иринархович,— сказал Махоннн.

Он пошел со старнком и ординарцем по деревне, по всем ее закуткам, погребам и земляным щелям, чтобы найти там оставшнхся жнтелей, успоконть нх н вызвать на свет. Он всегда так делал в наступленнн; он чувствовал в этом удовлетворенне своей работой солдата и конечное завершение боя; он чувствовал в тот час особое сознанне, похожее на сознанне отца и матери, рождающнх своих детей; спасенные, худые, устрашенные людн, танвшнеся в рытой земле, открывалн в сердце Махоннна глубокую тнхую радость, подобную, может быть, материнству: он спас нх победным боем от смертн, и это казалось ему столь же важным н трудным, как рождение нх в жизнь. «Живнте опять,— шептал он, наблюдая жителей, отходящнх от страха: какую-лнбо кроткую крестящуюся на него старуху нлн ребенка, уже улыбающегося ему. — Жнвнте теперь сначала»,— н он брал у орднннарца еду нз вещевого мешка, которую тот всегда нмел на этот случай, н дарил ее тем, кто сам умел кормнть всех людей.

Так он поступнл н теперь. Затем Махоннн дал поручение орднннарцу, а сам пошел проведать Семена Ирннарховича.

— Пойдем торопливей, Александр Степановнч: там старуха моя кончается,— сказал старнк.

— А что с ней такое?

— Да ннчего особого: война, Александр Степанович! Это ее взрывом оглушнло, она и задохлась, в старостн дыханне ведь слабое бывает... Я тоже пострадал, да уж оправился...

Семен Ирннархович прнютнлся для жнзнн в дворовой баньке, стоявшей на усадьбе поодаль от деревенского порядка, у самых прясел, за которыми вскоре же начннался лес, бывшнй теперь без лнстьев н без ветвей, обглоданный огненнымн бнтвамн, похожнй ныне на частокол мертвых костей, выросших нз гробов. Банька была без фундамента, маленькая нзбушка нз бревен, с одннм окошком, величнною в детскнй букварь. По этой прнчнне, что в нзбушке не было фундамента н стояла она свободно на земле, ее двнгалн с места на место воздушные удары от фугасных снарядов; такая участь скособочила ее, н солому нз ее

крыши всю повыдуло ближними взрывами, а что осталось немного, то раздувалось теперь по ветру редкими прядями, как у простоволосой нищей старухи.

Майор молча вздохнул от вида этой природы в России и вошел за стариком в его убогое малое жилище; там в сумраке лежала на банной полке старая жена крестьянина. Старик тотчас приник к ней и освидетельствовал ее дыхание.

— Где ж ты все ходишь, сатана? — прошептала женщина, часто и угнетенно дыша.— Ведь я помираю одна, хоть бы ты помнил обо мне...

— Да ну, вот еще что такое, так ты вот и померла в одночасье: век терпела, а тут враз жить не можешь, как раз когда надо! — говорил Семен Иринархович.— На дворе теперь тихо, война на немцев ушла: чего тебе нужно-то, дыши теперь и подымайся, тебя забота и хозяйство ждут...

Старуха помолчала, потом она попросила мужа:

— Приподыми меня!.. Ловчей бери-то, аль уж от жены отвык!.. Погляди в печь, в самую топку-то,— там чугун с теплыми щами был... Дай-ка я сама встану, неудельный ты мужик!.. Кои сутки не евши живем,— нам хлебать пора и командира заодно горячим покормим, отощал небось человек, все бои да бои идут, когда ему кушать!..

Старик живо повеселел, что старуха его опять не умерла и выздоровела. Видно, он любил свою жену, или то было чувство еще более надежное и верное, чем любовь: тот тихий покой своего сердца вблизи другого сердца, коих соединяет уже не страсть, не тоскливое увлечение, но общая жизненная участь, и, покорные ей, они смирились и прильнули друг к другу неразлучно навек.

— Вот оно так-то поумней будет! — бодро бормотал старик.— Вставай, вставай, Аграфена Максимовна, теперь время военное — теперь и старуха солдат...

— Да будет тебе, брехун... Вон командир молчит, а ты все языком толчешь. Какой я солдат! Кто солдат-то кормить и обшивать будет, коли все солдатами станут, старая твоя голова, ты подумай!..

Старик был доволен и не обижался.

— Груша, а Груша! — сказал он с мольбой.— А как бы нам куренка хоть на угольях как-нибудь поскорее испечь, ведь у нас нынче не простые гости...

Старуха оправила на себе одежду, потом начала чесать деревянным гребнем свои густые еще волосы.

— Да чего же,— согласилась она, подумав.— И куренка можно пожарить. Я сейчас встану, схожу...

— Того белоперого, белоперого, он посытее будет других,— подсказывал старый хозяин.

— Да я уж сама угляжу, какой там посытее, а какой тощей... Учитель!

* * *

Махонин не мог понять, почему в Малой Верее остались живые куры, когда тут оседлостью жили немцы.

— А как же фашисты-то у вас были, Семен Иринархович? — спросил майор.— Неужели они кур у вас не доели?

— Да, а что нам фашисты, Александр Степанович! — весело отозвался старый человек.— У нас не только что куры есть, иной колхозник и корову в лесу сберег, скотина в чаще две зимы спасалась. У нас и матки со свинофермы целыми остались, ну с тела отощали малость, да это мы их поправим... Эх, милый человек, что нам немец, если по уму его мерить! Разве устоит он против нашего соображения? Он не устоит, он не может: мы по своему сознанию первее его, потому что мы судьбы больше испытали! Вот ведь что, Александр Степанович... Немец всю Россию завоевать хотел, да неуправка у него вышла. А хоть бы и завоевал он нас, всю Россию, так опять же все ему стало бы ни к чему и впрок бы не пошло, и он бы сам вскорости уморился от нас, потому что хоть ты и завоюешь нас, так, обратно, совладать с нами никому нельзя. У нас уж такое устройство во внутренности есть — пока живешь, все будешь неприятелю поперек делать, а потом, глядишь, либо он умрет от тебя, либо ему постыло и жутко станет у нас, и он сам уйдет ночью назад в свое отечество... Мы без вас тут, Александр Степанович, всякую мысль думали и сами знали, как нам быть, чтоб врага не было...

— Так-то оно так, Семен Иринархович,— произнес майор Махонин,— а может, и не так... Совладать фашист с нашим народом не может, это, Семен Иринархович, правда твоя, а убить его он вот старается...

— Иди, иди, старая,— сказал старик своей жене, уже

убиравшей баньку, чтобы были в ней чистота и порядок.— Иди по моему указанию, общипай нам к обеду цыплака!

— Обрадовался, старый бес,— тихо проговорила старуха,— привык гулять-то да язык чесать при Советской власти... ан фашист-то, гляди, опять воротится! И этот тоже — одну деревню отвоевал и сиднем в ней сел... командир! Нет того, чтобы дальше втупорье на врага идти, пока он напуган!..

Махонин понимал бессмысленность слов старухи, обращенных к нему, но все же ему стало стыдно и неловко.

— Мне, хозяйка, в Малой Верее велено быть... Я без приказа не смею идти. Но вы не беспокойтесь — там фашистов другие наши части добивают...

— Другие,— прошептала старуха,— а ты бы, где другие, третьим стал, оно бы скорей война-то ушла с нашей России...

— Ступай прочь, старуха! — рассерчал хозяин.— Велено тебе делом заняться!.. Вот фугаска домашнего действия — шипит, а не взрывается...

Хозяйка ушла. Майор потянулся всем телом и вздохнул в отдыхе. Все же и в этой баньке, в этой погубленной войной деревне уже зачиналась домашняя жизнь, мир и счастье. Эти ворчащие, бормочущие, озабоченные старые русские крестьянки, народив свой народ, держат его в строгости и порядке и тем сохраняют его в целости, так что их постоянное недовольство и рассерженность есть лишь их действующая любовь, своей заботой оберегающая свой род.

Махонин хотел попрощаться с хозяином: его беспокоило, что долго нет ординарца. Семен Иринархович стал удерживать майора, чтобы скушать курицу, однако майор остерегался засиживаться.

— Хозяйка вон говорит, фашисты еще могут явиться,— улыбнулся Махонин.— Мне пора в батальон...

— По дурости они все могут,— согласился Семен Иринархович.

— На что им ваша Верея? А они ишь как лезли сюда! Им уж ни смысла, ни пользы не было тут быть, а они все дрались...

— Так это ж просто и понятно, Александр Степанович... Когда у человека ни добра, ни разума нету, так у

него прынцып начинает бушевать... У немцев теперь часто рассудка нету, я и сам такое замечал у них, а прынцып у них еще остался, они и воюют сейчас из прынцыпа да еще из страха. Пока что они, Александр Степанович, от своего начальства смерти боятся, а вот-вот им Красная Армия страшнее начальства будет, от нее-то смерть вернее, тогда они всем стадом в плен пойдут: берите нас на довольство...

Старик понимал кое-что верно. Майор услышал от него разумное умозаключение о боях немцев за Верею. Эти бои для фашистов не имели смысла, но чья-то карьера или авторитет зависели от боев за Верею, у кого-то там, по слову старика, «забушевал» принцип, и сотни немецких солдат были переработаны нашим огнем на трупы, хотя каждому ездовому из немецкого обоза могло быть ясно, что Верею держать было нельзя и не нужно. Майор еще раз понял, что разум не всегда бывает там, где ему положено обязательно быть...

В армии, предчувствующей свое поражение и гибель, эти свойства явственно обнажаются; старый крестьянин сразу заметил, что немецкая тактика в боях за Верею не имела рассудка; майор же хотел найти в этой тактике смысл и ошибся.

Махонин не обиделся на превосходство крестьянского ума; он не отделял себя от людей; он понимал, что человек лишь однажды рождается от своей матери, и тогда он отделяется от нее, а потом его питают и радуют своим духом все люди, живущие с ним, весь его народ и все человечество, и они возбуждают в нем жизнь и как бы непрерывно вновь рождают его. И сейчас Махонин обрадовался, что Семен Иринархович сказал ему истину и он мог поучиться у него.

— Как зимовать теперь будете, Семен Иринархович? Плохо жить в разорении...

— Ничего, Александр Степанович, мы стерпим, а вскоре, бог даст, и отстроимся. Зато какое дело мы с тобой и с прочим народом исполнили — такую гадюку всего мира на тело России приняли и удушили ее. Ты вот откуда считай, а не от спаленной избы! Горе и разор наши минуют, а добро-то от нашего дела навеки останется. Вот тебе Россия наша! А Германия ихняя что? Глядел я тут на немцев: глупарь народ. Мы весь мир, говорят, завоюем. Воюйте, думаю, берите себе обузу.

— Мир спокон века завоевать хотели, Семен Ириархович: дураков много было.

— Правда, правда твоя, Александр Степаиович: негодному человеку всегда весь свет поперек стоит. Оно и поиятио — старательио он жнть ие может, людей ведь много, и с каждым в соревнование нужио вступнть, делом, стало быть, иужио показать, что ты лучше его. А по делу-то ои иегодиый и ие поспеет, а жить ему хочется больше годиого, удовольствие свое ему иадо нметь скорее всех! Вот негодный и нашел себе занятие: опростать землю от людей, чтоб их малость осталось, н те тогда напугаиные будут н уинжеиие почувствуют, а всю землю с нажитым добром под себя покорить. Тогда живи себе как попало н как хочется, раз весь мир под тобой — тебе стеснеиья нету, ты сразу лучше всех и душа покойна, н пузо довольио!.. Это н я, когда мальчишкой был, все хотел, чтоб у иас старичок иочью иа пчельнике помер — тогда бы я иаутро в куреиь к нему залез и весь мед в его кадушке поел... Вот тебе круговорот жизии какой, Александр Степаиович! Немцу, я тут заметил, всегда все ясио бывает, ои думает — всю мудрость он постиг. А вот другого человека он ие зиает, и ии одного человека ои не может понять, оттого он н погибнет весь без остатка...

Махонии слушал старого крестьянина, и у иего хорошо делалось иа сердце, словио оно все более согревалось. Ои чувствовал, как тепло веры народа н праведность его духа питает его, н судьба его, Махониіа, как русского солдата, благословениа, и сейчас уже, а не в будущем он знает свое счастье. Ои видел, из какого большого н правильного расчета живет его народ н почему ои безропотио терпит горе войны и иадеется на высокую участь в этих погибших селеииях.

— Мы их все равио раздолбаем, Семеи Ириархович! — сказал майор.— Где же твоя старуха? Мие ведь иекогда!

— Старухи за войну от рук отбились, Алексаидр Степаиович! — объясиил старый человек.— Но ты потерпи малость — сейчас мы куренка кушать будем.

— Я кушать ие хочу,— сказал майор.— Я попрощаться хочу с твоей женой.

— А чего с ией прощаться — оиа помнрать не собирается...

Избушка-баия, в которой оии находились до сей поры

спокойно, подвинулась с места, и они услышали сотрясение земли.

— Это, Александр Степанович, мина большая вздохнула,— сказал Семен Иринархович.— Фашист-глупарь, и помрет, так все никак не уймется, ишь как землю смертью наследил!..

— Война, Семен Иринархович,— улыбнулся Махонин.— А смерть на войне нормально живет.

— Нормально! — согласился крестьянин. — Правда твоя.

Пригнувшись, в баньку вошел капитан, заместитель Махонина. Он доложил командиру, что батальон зачисляется на отдых во второй эшелон без перемены своего расположения.

— Передний край уж далеко вперед валом ушел, товарищ майор,— объяснил капитан обстановку.— Тут скоро резервы всеобуча будут находиться.

* * *

Тихо стало окрест Малой Верея... Было позднее время года, уже наступила зима, и снег улегся в полях мирной пеленой, укрывая землю на долгий сон до весны. Но поверх снега стояли омертвелые колосья некошеного хлеба, добрая рожь, родившаяся в то лето напрасно. Крестьянство в привычном труде взрастило свой хлеб, но убрать рожь у него уже не было ни силы, ни душевной охоты. Иных крестьян немцы увели в свою темную сторону, где заходит солнце, другие истомились и померли поблизости на военных работах, а прочие, кто изредка остался живым в родной деревне, те были либо ветхие, либо малолетние, а кому и посилен был труд, у того не было желания собирать хлеб на прокормление мучителя. И рожь на нивах отдала зерно из колосьев обратно земле, опустошилась и умерла.

Семен Иринархович, и его жена, и прочие малолюдные жители деревни всю осень глядели в поле, где томилась и погибала рожь, и они плакали по ней...

Теперь Семен Иринархович сказал майору Махонину об этом великом крестьянском горе, и оба они наутро вышли в поле, чтобы проведать мертвую рожь.

Поникшие колосья, как забытые сироты, стояли в снегу, не взятые отсюда крестьянскими руками, и давно уже

замертво окоченели. Семен Иринархович осторожно стал ощупывать колосья и размышлять над ними. Умершие, они еще хранили в себе дар человеку, как благодарность за минувшую жизнь: почти в каждом колосе еще таилось по нескольку целых зерен, в ином два, в ином четыре зерна, лишь редкий колос был вовсе пуст и бездушен.

— Ты здесь осторожней ходи, Семен Иринархович,— сказал Махонин крестьянину.— Тут немецкие мины есть.

— Я чувствую,— ответил Семен Иринархович.— Я с оглядкой.

Но сердце его не стерпело теперь печального несжатого поля. В полдень он взял серп и вышел на ниву жать тощий хлеб по снегу. Красноармейцы из батальона Махонина долго следили за старым тружеником, согбенным в поле. Некоторые красноармейцы захотели пойти ему на помощь, но не отыскали в погоревшей деревне ни серпа, ни косы. Тогда они взяли у саперов пилы и топоры и вышли в лес, чтобы заготовить кряжи на постройку новых изб в Малой Верее.

До самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию, и до темноты не возвращался из поля старый крестьянин, по зерну собирающий свой убогий хлеб.

Майор чувствовал себя сейчас счастливым человеком: в добровольном труде своих бойцов и в скупой жатве старика он видел доброе одухотворение своего народа, посредством которого он одолеет неприятеля и исполнит все свои надежды на земле.

На вечер Махонин задремал в старом блиндаже, приспособленном теперь для временного жительства, но пришел ординарец и разбудил офицера.

— Товарищ майор, вас просит тот старик, он подорвался на мине и кончается...

Семен Иринархович лежал на полке в своей баньке, укрытый теплой ветошью. Возле него находился военный врач и молча сидела жена. Лицо у старика было уже дремлющим, утихающим и более серьезным, чем в истекшие дни его существования.

— Отхожу, Александр Степанович,— произнес старый крестьянин.— А вы живите, исполняйте свою службу, пус-

кай на свете все сбудется, что должно быть по правде... Одни вы без меня останетесь...

Махонин склонился к умирающему и поцеловал его большую серую руку, всю свою жизнь терпеливо оживлявшую землю трудом. Он посмотрел в глаза отходящего человека и увидел в них лишь удовлетворенное спокойствие, словно смерть для него была заслуженным достоянием,— таким же добром, как и жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Платонович Платонов

ГВАРДЕЙЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Рассказы

Редактор *О. Голева*
Художник *Ю. Ноздрин*
Художественный редактор *Г. Саленков*
Технические редакторы *Н. Децко, В. Никифорова*
Корректоры *И. Рудакова, Г. Голубкова*

ИБ № 4314. Сдано в набор 05.02.85. Подписано к печати 13.03.85. А13036. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.отт. 5,36. Уч.-изд. л. 5,16. Доп. тираж 600 000 экз. Заказ № 1409. Цена 40 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Платонов А. П.

П37 Гвардейцы Человечества: Рассказы.— М.: Современник, 1985.— 96 с.

В пер.: 40 коп.

Цикл военных рассказов известного советского писателя Андрея Платонова (1899—1951) посвящен подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

П $\frac{4702010200-135}{М106(03)-85}$ КБ—4—34—85

ББК84Р7
Р2

40 коп.

• Современник •